

«Бисквитный домик». Пути-дороги. Любовь и разлука

Встреча с Отрадным была для Владимира Михайловича и радостной и бесконечно грустной. Он никак не ожидал такого «полного разорения». Дом, который он отдал под лазарет, был в плачевном состоянии. Окна и двери не закрывались или не открывались, а то и вовсе отсутствовали. Доски пола ходили под ногами, как клавиши...

Мария Петровна уговаривала его не огорчаться: «Как-нибудь все уладится».

Владимир Михайлович очень рассчитывал на флигель, который брат Николай приводил в порядок накануне войны.

И, действительно, флигель или «Бисквитный домик», как называла его Мария Петровна, стал местом их семейного обетования, где они с большой радостью начали обустраиваться.

Виктор Иванович принес им «родовой» «прокудинский самовар». В доме, где ребенок, всегда нужна кипяченая вода...

В этом «Бисквитном домике» Мария Петровна и родила Машеньку.

Роды были тяжелыми и долгими... Владимир Михайлович сидел под дверьми и каждый раз, когда они открывались, вскакивал...

Но вдруг двери распахнулись, из них выскочила фельдшерница и бросилась к нему:

— Врача надо, врача!

Послали за врачом. Прибывший врач сразу же объявил: «Надо делать кесарево сечение». Владимир Михайлович послушно согласился, но Мария Петровна отказалась: «Нам нужен наследник, а после «кесарева» я ведь рожать не смогу... Что Бог даст».

Когда врач вышел к рукомоильнику и сказал: «Поздравляю, девочка», Владимир Михайлович, который все три дня не отходя от двери, молился про себя, только и мог сказать: «Слава Богу, Слава Богу!»

Назвать решили в честь Марии Петровны.

«Машенька растет здоровым и веселым ребенком. Она хорошо спит, хорошо ест и смешно морщит нос улыбаясь...» — писала Мария Петровна своей сестре Поле.

Дни потекли своим чередом.

Владимир Михайлович заходил иногда на отцовский конезавод. Завод стал «казенным», как называли его конюхи. Но Владимир Михайлович все еще в душе считал его своим. Лошадей на заводе осталось мало, одни стригунки. Как опытный лошадиник, любивший лошадей, он огорчился, когда видел, что многое делается «не полезно» лошадям.

Видя разрушения вокруг своего любимого «родового гнезда», Владимир Михайлович засел за написание истории рода Прокудиных-Горских. Но обнаружил, что семейный архив, как и библиотека сильно разорены.

По зову сердца снова и снова ходил «к лошадям» на бывший завод и горько страдал. Да, можно сказать, и завода уже никакого не было...

Уходил оттуда Владимир Михайлович такой расстроенный, что на глаза жене «попадаться стыдно». И только когда донесется до него веселый визг и смех из детской, заглянет к ним.

Там у него с Машей происходила веселая игра. Он притворялся, что потеряв, ищет Машу:

— Где моя маленькая Машуня? Где моя доченька? — спрашивал он и заглядывал под стол, под диван, под шкаф...

Машенька, замирая от счастья, следила за каждым его движением. Когда он приближался к ней, она не выдерживала и радостно визжала, протягивая к нему ручки...

— А-а, вот ты где! — говорил он, брал ее на руки, подбрасывал и кружил...

— Скоро ли мы с тобой, доченька, будем вальс-мазурку танцевать? И кружился с ней в ритме мазурки.

Как только Владимир Михайлович входил в детскую комнату, Машенька издавала такой радостный клич: «И-и-и!!», что и Мария Петровна и он не могли не смеяться. Когда он подбрасывал Машеньку, это «И-и!» восторга не прекращалось. Мария Петровна боясь, чтобы он, не дай Бог, не уронил бы ребенка, незаметно протягивала руки, но запретить не могла — уж очень хорошо оба радовались...

Конный завод стал «сворачиваться», и старый конюх Никита не знал что ему делать. Одна у него осталась любовь, такой же старый как он сам — конь Орлик.

Когда у Никиты появлялись деньги, он напивался и оказывался в самых неожиданных местах — то на полу в полусгоревшем кухонном корпусе, то у колодца, а то в старом курятнике, где было тепло, темно, и сутки сменялись сутками совершенно незаметно.

Орлик был предан Никите. Когда конюх долго лежал недвижно где-нибудь в «чистом поле», конь подходил к нему, обнюхивал, дыша ему в лицо, и тихо ласково ржал, словно призывая «воскреснуть из мертвых».

Иногда Орлику приходилось пить воду прямо из ведра, стоявшего у колодца, с мелкими щепками от колодезного сруба. Но Орлик не обижался на Никиту. Он уже понимал — таковы превратности жизни.

Когда в Отрадное вернулся Владимир Михайлович, Никита и Орлик словно сразу помолодели — им казалось: теперь возвратится их прежняя молодая жизнь.

Вместе с Виктором Ивановичем и Никитой Владимир Михайлович выстроил при доме для своего любимого Орлика нечто среднее между конюшней и просто стойлом.

Теперь конь, оказавшийся в сущности бесхозным, был, по выражению Никиты, «при своем месте» и иногда возил всю семью на шарабане в Орел...

На Орлике уезжал Владимир Михайлович и тогда, когда собрался в Москву. Там было решено встретиться всем братьям.

Они, то есть братья, собирались уезжать в Париж. Надобно было проститься или уговорить остаться. Как получится.

Владимир Михайлович рассчитывал в Москве найти работу и переехать всей семьей туда.

Такие были планы у Владимира Михайловича, когда он садился в шарабан с Марией Петровной и Никитой. Доехали до Орла.

Тот же Орлик довез Марию Петровну и Никиту оттуда до их Отрадного...

Мария Петровна писала письма, что у них все хорошо в их «Бисквитном домике». Чтобы Владимир Михайлович не беспокоился, она сообщала, что Машуня, как только выходила в сад, спотыкаясь и падая, «неслась» к собачьей будке, где огромный овчар сидел

на цепи и терпеливо сносил все ее ласки, чуть заметно пошевеливая хвостом.

Все, казалось, шло ровным ходом, как вдруг в «Бисквитный домик» пожаловали неожиданные гости, какие-то должностные лица...

Они долго ходили вокруг дома и флигеля, потом прошлись по комнатам, составили какую-то бумагу и объявили Марии Петровне, что дом у Прокудиных-Горских отнимается, поскольку новым учреждениям надо где-то размещаться, а другого такого отдельного и удобного по расположению помещения для них нет.

— Вы уж извините, дамочка, придется...

«Дали сроку» неделю на сборы и назвали число, когда ей следует освободить помещение.

— Не сердчайте, дамочка. Власть народная только образуется — помещения нужны вот так... А вы с девочкой найдете себе комнатушку где-нибудь в другом доме... может, поблизости. Мы ваш чемоданчик перенесем.

Мария Петровна решила ехать в лазарет города Новороссийска, где работали сестры милосердия, знакомые ей по Общине Св. Евгении.

А тут в Отрадное пришло письмо от сестры Марии Петровны — Пелагеи Петровны Нарышкиной, которая в это время жила в пустой школе на берегу Черного моря и звала их всех вместе с Владимиром Михайловичем приехать погостить.

— Видно, самому Богу угодно, Машенька, чтобы мы с тобой, папы не дождавшись, уезжали. А я тебя потом отправлю к Полиньке, — говорила Мария Петровна дочке. — Конечно, она от Новороссийска далеко, но уж какнибудь доберемся, Бог даст. А ты будешь там у моря со своей тетенькой плескаться...

— Ничего, ничего, — успокаивал Марию Петровну Виктор Иванович, — сидите себе на месте, не выбросят же они вас с ребенком на улицу.

Но в назначенный срок «служивые люди» снова пришли.

— Нам ждать больше нельзя. Даем вам два дня последнего срока. А там учреждение сюда въедет, так что уж будьте добреньки...

Виктор Иванович остался дожидаться Владимира Михайловича.

Мария Петровна пошла на почту и дала телеграмму сестре: «Выезжаю с Машенькой».

Девушка, принимавшая телеграмму, высунулась в окошечко и уточнила:

— С машинкой?

Хоть и грустно было Марии Петровне, но она рассмеялась:

— Ну, машинка моя дорогая, поехали.

— Бог нам в помощь, оставаться здесь больше нельзя, — сказала она Виктору Ивановичу. В лазарете поработаю... Я написала Владимиру Михайловичу, когда приедет, отдайте ему...

А Владимир Михайлович в это время, как можно догадаться, метался по Москве.

До сих пор так и остается неизвестным, что же произошло с его братьями. Проводил ли он их в Париж?

И добрались ли они до Парижа? Или погибли, не доехав до него, как погибали тысячи эмигрантов тех лет в поездах и пароходах, которые отъезжали, отплывали из России?

Можно только гадать...

Он летел в «Бисквитный домик» уверенный, что там его ждут...

На дверях — большой амбарный замок.

Виктор Иванович, который до последнего «сберегал» дом, передал письмо от Марии Петровны, объясняя сам как мог ситуацию: флигель «конфисовали» или «нациолизовали, как это теперь делается».

Никто из оставшихся в доме не мог выговорить и не понимал смысла этих слов.

Парадные комнаты были, как говорил бывший управляющий Федор, «заселены». Он советовал:

— Подите, барин, туда — пусть потеснятся... Это, небось, не ихний дом...

Но Владимир Михайлович понимал, что «тесниться» ни у кого нет желания.

— Ах, зачем она поехала, — говорил, не слушая собеседника, Владимир Михайлович. — Там идут бои, красные и белые вешают друг друга на березах...

— Нет там берез, Владимир Михайлович. И женщину с ребенком не схватят и не повесят ни красные, ни белые, ведь и те, и другие за Россию. И те и другие люди ведь... не звери.

* * *

Новороссийск встретил Марию Петровну с Машенькой ярким горячим солнцем... На бульварах цвела акация... Мелькали военные в мундирах царской армии, слышалась французская речь...

Мария Петровна сразу же устроилась работать в лазарете. Ей предоставили отдельную комнату, так как она была с ребенком.

Как только появлялась возможность, она перебежала по лазаретному двору и заглядывала к Маше.

Пролетела неделя, и Мария Петровна повезла Машу к сестре.

До Геленджика их довез в телеге старик, а от Геленджика до Солнцедара они шли пешком.

Маша на всю жизнь запомнила эту дорогу и море, сверкающее на солнце. Было слышно, как оно журчит. Она видела его в первый раз.

Они шли с мамой по «простицу» — тропинке, вьющейся в рядах виноградных кустов.

Маша устала, но мужественно держалась. Мама сажала ее отдохнуть на жесткую, рыжую траву, а сама не садилась, стояла. Им надо было успеть до темноты к Полиньке в школу.

— Отдохнула? — спрашивала мама, и Маша кивала головой.

Солнце село, и сразу стало темно-темно, только звезды на черном небе, да чуть белела тропинка...

И вдруг они увидели вдали большие освещенные окна.

Мама весело сказала: «Это полина школа. Полинька нас ждет».

Сестры обнялись и заплакали. У Полиньки было много горя на душе: на войне убили ее мужа Леонида Никитича Нарышкина.

И другое: носила она воду из колодца наполнить бак в школьной кухне и надорвалась — родила сына восьмимесячного. «Посмотрел он на меня своими синими глазками с упреком и закрыл их навеки», — говорила она сестре.

На следующий день Мария Петровна вышла на шоссе, чтобы поймать какой-нибудь транспорт в сторону Новороссийска.

Грустно им было расставаться. Так в постоянной разлуке они и стали теперь жить — Машенька и мама.

Полинька с Машей провожали Марию Петровну до «поворота», а вечером смотрели в окошко школы, не возвращается ли она. Сестры поняли — часто ездить из Новороссийска она не сможет.

На шоссе, ведущем от Новороссийска к Туапсе, «шалили» белоказаки, сверкая на солнце шашками.

Иногда проносилась по шоссе красная тачанка, строча из пулемета...

Полинька с Машей жили тихо и размеренно. Утром варили кашу, потом шли «дышать морским воздухом», купались... Собирали

на берегу выброшенные волнами щепки — Маша говорила «вот еще дрово» — чтобы топить печку.

А каждый вечер по решительному требованию Маши, ходили на шоссе — «а вдруг приедет мамочка».

Маша выросла, окрепла, загорела, но мамы ей недоставало.

— Полинька, ты тоже моя мама?

— Нет, детонька, мама у человека бывает одна. Твоя мама — это наша Манечка.

— Полинька, я хочу к маме Манечке. Я хочу к маме, пожалуйста...

— Потерпи немножко, Машенька.

— А где мой папа?

— Папа?.. — Это был такой же трудный для Полиньки вопрос, как и первый. — Папа в Москве.

— Он скоро приедет?

— Потерпи немножко, деточка...

— Долго... терпеть?

— Видишь ли, это знает твоя мама. Я не знаю. Мама говорила, что он поехал провожать своих братьев в Париж, твоих дядю Колю и дядю Андрея.

— Папа уехал?

— Возможно...

Маша долго молчала.

— А мы с мамой уедем в Париж?

— Не знаю, Машенька. Если мама решит уехать — она тебя возьмет.

— А ты с нами поедешь?

— Нет, Машенька, я не поеду.

Маша некоторое время молчала и снова спрашивала:

— Полинька, а Париж далеко?

Они подошли к глобусу, который стоял в классе на шкафу. И на его разрисованной поверхности находили Новороссийск, находили Орел, Москву и Париж. На глобусе это было все гораздо проще...

А вечером снова шли к «сашейке», как говорила маленькая Машенька, встречать маму. И грустные возвращались в школу. Полинька говорила:

— Не печалься, Машенька. Как будет можно — она сразу приедет.

— А скоро будет можно? Сегодня пойдем на «сашейку»? Может быть уже можно.

— Давай денек пропустим...

— Давай завтра пропустим, а сегодня пойдем.

И они шли к «сашейке», стояли там долго, не отводя глаз от поворота, а потом возвращались обратно.

Солнцедар все более пустел. Встречались им на пути раненые — на костылях, без рук или без ног.

— Вон раненый, — говорила Маша, — наверное, мамин раненый. Детей приходило в школу к Полиньке теперь мало.

Патронесса школы Екатерина Николаевна Панютина больше не могла платить Пелагее Петровне жалованье, ее счет в банке был теперь заморожен.

Как ни жалко было закрывать школу, все-таки пришлось. Надели на дверь замок, закрыли окна ставнями.

Маша заплакала.

— Машенька, почему ты плачешь? Мы сюда вернемся.

— Как же нас мамочка найдет? Я хочу остаться в школе.

— Мы теперь будем жить в Геленджике и каждый вечер сможем ходить на шоссе встречать маму.

Это утешило Машу.

Они поселились в большом деревянном доме. И дом этот — подумать только! — сохранился до сих пор. Людей уже нет, а дом жив.

Второй этаж дома опоясывал балкон с деревянными резными перилами, в прорези которых можно было смотреть вниз (сейчас балкон застеклен и выглядит как веранда).

Теперь Маша играла на балконе — здесь был ее кукольный уголок.

— Эту куклу зовут Манечка, она сестра милосердия. А этой кукле давай сошьем штанишки, она будет у нас Володя Прокудин-Горский... Он приедет из Парижа и придет сюда на балкон...

Когда в школе начались занятия, и Пелагея Петровна уходила на уроки, Маша стала гулять с соседкой Улей и все время тянула ее на шоссе. Полинька должна была запретить это. На шоссе часто раздавалась стрельба. Иногда там лежали убитые или умершие от го-лода люди.

Но Мария Петровна все-таки прорвалась к ним.

Геленджикские ребята проводили ее к самому дому с круговым балконом:

— Вот эта ее дверь! Только она с Машей пошла вас встречать!

Маша первая заметила свою маму и бросилась к ней на шею.

Все дни, пока Мария Петровна жила у них в доме с круговым балконом, Маша не расставалась с ней.

По вечерам они долго сидели за столом и пили сладкий чай с галетами.

Однажды Мария Петровна сказала своей сестре:

— Знаешь, Полинька, я чувствую, что Машеньку больше не увижу. Я это чувствую...

В одно ясное солнечное утро на горизонте молочно-серебряным блеском обозначились два огромных броненосца, они медленно развернулись в голубоватой дымке горизонта... Кто-то крикнул: «Детей в щели!»

Полинька схватила Машу, заторопилась в щель. На территории завода было вырыто несколько щелей, прикрытых деревянными щитами, засыпанными землей. Маше это было очень интересно. На деревянных настилах сидели ребятишки как воробьи на ветках.

Грянули выстрелы с броненосцев, и эхо отозвалось в горах. Из щитов, прикрывавших щели, посыпался песок, тонкими струйками обсыпая детей... Маша засмеялась. На нее оглянулись, она вдруг заметила какие испуганные лица у всех и перестала смеяться.

Грохнуло рядом, и щиты над головами детей сильно содрогнулись. Песок посыпался так сильно, будто шел дождь.

Когда Полинька с Машей выбрались из щелей, все вокруг было по-прежнему, только черная дыра зияла на розовой черепичной крыше почтамта.

Маша заплакала.

— Ну что ты? Все уже кончилось.

— Я хочу к моей маме, — всхлипывала Маша...

Полиньке и Маше пришлось еще два раза переезжать в освобожденные квартиры.

Завод не работал. Геленджик пустел.

Уже значительно позднее, когда Маша стала взрослой женщиной и вела свой дневник, в нем появилась такая запись:

Мы с мамой прожили ее короткую жизнь в постоянной разлуке.

Мы очень трудно расставались, но когда были недолгие пере­рывы в наших разлуках, мы жили в страхе перед новыми.

Я всегда чувствовала своей детской душой мамину грусть.

Как-то недавно я прочла у Бунина, что его самая большая и са­мая мучительная любовь всей жизни была любовь к матери. Я удиви­лась, как точно он сумел сказать то, что было и со мною. Я потеряла и маму и папу, когда мне было четыре года. Но я их так отчетливо вижу и чувствую, как будто это было вчера..

Помню, как они учили меня ходить. Это тоже было в Отрадном в «Бисквитном домике». Я в новом синем пальтишке с капюшоном и бантом под подбородком, которое мне, видимо, привез папа. И ро­дители любовались на свое разряженное чадо.

Перед высоким зеркалом непослушными ногами я делала пер­вые свои шажки, вышагивала, зацепая нога за ногу...

Мама меня держала подмышки и оглядывалась на папу. Всем своим существом я чувствовала, как довольны моя мама и мой папа, которые здесь и смотрят на меня.

Это семейное счастье, отраженное в старинном, как будто мут­новатом, зеркале я запомнила на всю жизнь.

Помню, как только мама стала меня выпускать в сад, я устрем­лялась к собачьей будке в углу сада. А мама бежала за мной, боясь подпустить к лохматому псу, не обращавшему на меня ни малей­шего внимания. Получалась такая игра, в которой у каждого была своя роль..

Помню, это, наверное, было уже в Новороссийске, когда очень недолго мы жили с мамой в больнично-белой комнатухе лазарета. Она, убегая на дежурства, искала чем меня занять и давала мне нож­ницы с закругленными концами и какой-нибудь старый журнал. Вырезать картинки было занятием, целиком поглощавшим меня на многие часы.

Помню, как мама отвозила меня в Солнцедар к Полиньке в школу, и мы были грустные — впереди разлука.

До Геленджика ехали в телеге, в которую впряжены не лошадь, а два вола — огромные, медленные, с широко изогнутыми рогами. У волов вместо лошадиной упряжки — колодки на шее; вместо вож­жей — у возницы в руках длинный тонкий шест, которым он время от времени тыкал то одного вола, то другого, покрывая:

— Цоб цо бэ!

Мне очень нравились и это «цоб цо бэ» и эти шесты.

Но больше всего я любила лошадей, размеренное цоканье их копыт, помахивания хвостами. Даже запах лошадей любила, и то как они пряли ушами и косили добрым глазом... В этом отношении я была «папина дочка».

Он чувствовал, что я не боюсь и люблю лошадей, и несколько раз брал меня на конезавод. Я помню розовую стену, вдоль которой мы едем с ним на Орлике «к лошадям». Это мне было как праздник, как награда. И я даже кормила Орлика, давая ему кусочки хлеба с ладошки.

В Геленджик можно было ехать еще морем, но меня всегда укачивало, и в детстве, и теперь укачивает... Поэтому моя мама выбирала сухопутный способ — на волах. А от Геленджика до Солнцедара мы шли пешком.

По дороге мама несколько раз усаживала меня отдыхать где-нибудь в «тенечке» под держи-дерево, а сама никогда не садилась, потому что мы всегда торопились до темноты дойти к Полинке в школу.

С одной стороны дороги журчало море, с другой были виноградники, откуда несло звонкое трещание цикад. Это было очень хорошо, и главное — рядом была мама.

Но тогда шла Гражданская война, и был голод.

Мы с Полинкой только позднее узнали, что мама в лазарете стала работать сестрой милосердия в тифозной палате, так как больных было очень много и лечить их было некому...

Поблизости «гуляли банды». Бараки тифозников они особенно ненавидели. Это для них были гнезда заразы, и по их представлениям они подлежали уничтожению.

Махновцы ворвались туда, когда дежурила Мария Петровна.

Держась за косяки двери, она встала на их пути, преградив им вход в палату.

— Там раненые. Туда нельзя.

И они, тяжело дыша горячим перегаром самогона ей в лицо, сначала остановились...

Когда это рассказали Полинке очевидцы, она, закрыв лицо руками, заплакала, приговаривая:

— Бедная наша колдунья, хотела их не пустить...

Они все-таки ворвались в палату с шашками наголо... И первая от удара шашки упала Мария Петровна. Ее подняли и положили

на койку. Может быть, ее прекрасное умирающее лицо остановило их, они прогромыхали назад, во двор, водрузились снова на своих битюгов и унеслись галопом, размахивая пашками.

Мария Петровна истекала кровью. Ее молодая жизнь, полная любви, нежности и желания помочь всем, кто только в ней нуждался, была закончена. Умирая она звала «Володю» — своего мужа и «Машеньку» — свою маленькую дочку.

К вечеру ее не стало. Она умерла от потери крови.

С тех пор что-то незаметно для самой Машеньки изменилось в ней. Она больше не просила идти до «поворота» встречать маму. Она поняла что-то очень страшное — ее мамочки больше нет. И теперь она никогда не спрашивала Полинку об этом...

Но она на всю жизнь запомнила как последний раз видела свою бедную, бедную мамочку.

Был пасмурный, ветреный день, и Маша с утра не отходила от мамы, держалась за ее колени. Заплакала, когда мама собрала свой саквояж и поставила его к двери.

Полинька взяла пустую коробочку и приделала ей носик из проволоки как у чайника. Маше понравился этот чайник, тогда Полинька приделала к нему еще и ручку из проволоки.

Маша присела на корточки и стала крутить проволочку словно открывала и закрывала краник у самовара.

Мария Петровна улыбнулась и сказала:

— Я пойду...

Вот тогда-то и были сказаны мамины слова, которые Полинька и Маша запомнили на всю жизнь:

— Я не увижу Машеньку больше...

Но коробочка из-под какао все-таки сильно занимала Машу.

Когда мама была уже внизу, Полинька подняла Машу на перила.

Мама стояла внизу, и белую косыночку с красным крестиком на лбу раздувал ветер, — тоненькая и грустная, ее мама.

Такой и запомнила Маша свою маму на всю жизнь. Мама была там, внизу, а Маша наверху на кружевном балконе...

Маша, казалось Полиньке, оставалась прежней, разве только чаще плакала, да иногда забиралась под стол и тихо сидела там под спущенной скатертью.

— Маша, ты где?

— Я здесь, — и Маша выглядывала из-под скатерти.

— Ты что там делаешь?

— Я играю...

— Во что ты играешь?

— В лазарет... и как будто там мамочка работает...

И помолчав немного, Маша вдруг спрашивала:

— Полинька, а где теперь моя мамочка?

— Она, Машенька... на небе...

— А она нас видит?

— Она нас видит и радуется, когда мы с тобой веселые, здоровые и дружно живем...

— А ей там хорошо?

— Ей хорошо, когда она видит, что нам с тобой хорошо.

Помолчав немного, Маша снова поднимала скатерть и выглядывала из-под стола.

— Полинька, а мы ей видны оттуда?

— Пойдем, я тебе покажу, — говорила Полинька и показывала:

— Видишь самую большую, самую красивую звездочку? Вон ту?

Это мамин глазок, которым она все, все видит.

— А если я что-нибудь скажу, она меня услышит?

— Я думаю, что услышит... Многие люди ходят в церковь и там разговаривают со своими родными — молятся.

— Я знаю. Мы с Улей ходили в церковь. Только она сказала, чтобы я тебе не говорила. Можно я буду маме молиться?

— Можно, Машенька, конечно, можно.

И когда Маша уже в одной рубашке лежала в своей постельке, Полинька услышала, как она шепотом говорила:

— Мамочка, мы с Полинькой тебя очень любим... Не плачь, мамочка... Когда я увижу тебя...

* * *

Зима 1920 года была в Новороссийске суровая, с морозом и ветрами. Обледенели каменные защитные стены молоты.

У причалов недвижно стояли полузатонувшие лодки, провисли провода между опорами, обремененные гроздьями звенящих сосулек... Раскачивались ветви огромных акаций на бульваре Раевского...

Город встретил Владимира Михайловича оружейной стрельбой...

Шли последние решающие бои за этот морской порт. Наступавшая мгновенная тишина казалась жуткой.

Обходя улицы усиленной перестрелки, Владимир Михайлович искал лазарет, который Мария Петровна называла в письмах.

Как в этом воюющем городе может житься «моим Машенькам»? Это в сущности самый настоящий фронт...

Лазарет можно узнать по ряду тускло освещенных окон и красному кресту. В коридоре полумрак, пахнет карболкой...

Из двери выглянула женщина.

— Сестру милосердия Марию Петровну...

— Нет ее, батюшка, нет, нет...

— Где ее можно найти?

— Нигде ты ее не найдешь — она, голубушка, на том свете, царство ей небесное...

Молчание...

— Может, не про ту говорите?

— Про ту, про ту. Я здесь знаю всех. Вот тут на тумбочке и твой портретик у нее стоит.

Прокудин-Горский сел на белую больничную табуретку...

Он слушал и ничего не слышал.

— Где теперь моя дочка? Машенька?

— Машенька? Была здесь Машенька поначалу... Но потом ее куда-то увезла Мария Петровна.

— Куда? Куда именно?

— Куда не скажу... А вчера военный приходил, в ее корзиночку пакетик положил... Бумаги какие-то, стихи... „Доченьке ее пусть достанется“, — сказал. А ты сходи на кладбище, на могилку. Помолись — легче будет.

На кладбище холмик был свежий, еще травой не успел зарости.

— Вот здесь она лежит... — сказал сторож Владимиру Михайловичу. — За больными ходила, а тут налетели махновцы эти... И в палаты... Она встала в дверях: туда, говорит, нельзя, там больные. Они было остановились, а задние прут, да так и ввалились с шашками...

Прокудин-Горский поклонился могиле, в которой лежала его Мария Петровна.

Отошел от кладбища и зарыдал. Ему вспомнился лунный свет как серебряное кружево, лежавшее на ступеньках дома, где он встре-

тился с Марией Петровной, и звучание романса, который исполняли тогда в гостинной:

Гори, гори, моя звезда,
Звезда любви приветная,
Ты у меня одна заветная,
Другой не будет никогда...

У пристани в Новороссийске около сходен толпились люди. Транспорт увозил остатки царской армии к генералу Врангелю в Крым. Убрали сходни, сняли с тумб швартовы, заработали винты, бурля темную воду.

«Империя», неуклюже разворачиваясь, стала отваливать от пристани...

Владимир Михайлович как будто услышал свой разговор с Марией Петровной возле Орлика в стойле, только что сооруженном тогда для него.

— Какое красивое и умное животное, — говорила она. — Если бы человеку надо было в другой жизни родиться животным...

— Я бы хотел родиться лошадю, — ответил он тогда Марии Петровне, и они оба засмеялись.

Потом этот разговор вспоминала Мария Петровна, рассказывала его Полинке. В сущности, в этом не было ничего смешного: лошадь никогда не наступит на человека, упавшего ей под ноги, а люди могут ворваться в госпиталь, чтобы убивать...

Он говорил ей тогда, что лошадь рядом с человеком вошла в историю человеческого общества как полноправный участник событий. Каждый военный стремился быть изображенным на коне. «На коне» даже в поговорках означает «в самом лучшем виде»...

На противоположном берегу зажглось несколько чуть заметных огоньков. Катера туда не ходили. Да и незачем ему было туда ехать...

Не знал он тогда, что там — в черном силуэте дачи князя Голицына, где зажигались эти огоньки, — живет Пелагея Петровна с Машенькой, спасаясь от голода и холода. В опустевшей даче Голицына новые власти устроили Дом малютки.

Дом, в котором раньше жили Нарышкины, когда туда пришел Владимир Михайлович, оказался пустым...

Где они, и что с его Машуней?

Не знал он и того, что Полянка не съедала полагавшийся ей паек хлеба, чтобы Машенька, пошарив ручонкой в условленном месте на комоде, могла найти кусочек хлебца, которого ей так не хватало.

Отвернувшись от мрачного силуэта дачи Голицына, Владимир Михайлович продолжал смотреть на море, на то, как человек, едва различимый в темноте наступавшей ночи, нырял в черную воду, чтобы достать со дна уроненный с «Империи» чемодан. Он выныривал, чтобы хлебнуть воздуха, и снова уходил под воду.

По непонятной связи Владимир Михайлович вспомнил, как Машуня жмурилась и издавала свое радостное «И-и!» и снова тянула к нему ручки, прося: «Есё! Есё!».

С тех пор ни он о Машеньке, ни Машенька о нем ничего не слышали, никогда друг друга не видели...

В Новороссийске рассказывали, что на набережной застрелился офицер. Может быть, это он?

Может быть, он уехал в Париж со своими братьями?

А может быть, его сослали «на десять лет без права переписки»?

И вот только теперь, в 2005-м году, обнаружена его могила на кладбище Новодевичьего монастыря.

Зиму 1920 года — одну из самых тяжелых зим XX века — город Новороссийск, да и все побережье Северного Кавказа переживало тяжело.

В первые же дни, как только наладилось катерное сообщение между городом и заводским поселком через бухту, Пелагея Петровна сразу же поехала искать «Манечкин след».

Не просто он отыскивался.

Нашла она, где жила Маня, услышала рассказ соседки-нянечки о том, какой сестрица Мария Петровна была к чужому горю отзывчивая...

Дома с Машей развязали веревочку на маминой корзинке, и вместе с маминым родным запахом оттуда пахло запахом карболки.

Сверху лежало мамино белое танцевальное платье, которое Маша называла «пушистым»; под ним пакетик, перевязанный шелковой тесемочкой, на нем было написано: «От Дмитрия Несвицкого, в память Марии Петровны Прокудиной-Горской».

Маше понравилась коробочка, которая хитро открывалась, щелкнув. Внутри ее на атласной кремовой подушечке лежали тесно друг к дружке медали с полосатыми ленточками.

На них были красные эмалевые крестики, лавровые веточки и по окружности надписи: «За храбрость», «За мужество», «За отвагу»... Это прочла ей Полинька.

— Это все, что осталось от нашей мамочки, — сказала Полинька, голос ее задрожал, и она улыбнулась Маше. — Это, Машенька, мамин подарок тебе. Береги его. Старайся быть такой же доброй к людям...

Маша с гордостью щелкала крышкой коробочки и говорила своим подружкам, которые приходили к ней играть:

— Это медали моей мамы, ее наградили за храбрость. Когда на войне стреляли, она не боялась, и как только увидит, что солдат раненый упал и лежит на земле, она бежала к нему и приносила в «укрытие» и там делала ему перевязку.

Но коробочка с медалями очень скоро у нее пропала...

Не нашла Полинька и документов в корзиночке. Видно, Мария Петровна держала их при себе.

Должен был еще быть золотой крестик с эмалевым изображением распятого Христа, подаренный Маше отцом. Это была фамильная драгоценность Прокудиных-Горских... Но его тоже не оказалось.

Эту зиму Пелагея Петровна с Машей переживали на бывшей даче Голицына, теперь Доме малютки.

В нем шла своя нелегкая жизнь. Детей находили во дворах, на лестницах, в пустых комнатах, куда взрослые уже не смогли вернуться.

Детей мыли, стригли, смазывали их болячки, одевали в тут же сшитые балахончики. Записывали в регистрационный журнал, где именно, в каком месте их нашли.

Но их имя, а тем более фамилию, никто из детей не мог сказать, поэтому сотрудники Дома малютки придумывали им новые имена и фамилии. Под этими именами дети жили, привыкали к ним и, подрастая, считали их своими, данными им родителями.

— Что же делать, — говорили нянечки, — нельзя же, чтобы человек жил без имени, без роду.

У Маши документов тоже не было. Они погибли с Марией Петровной. Пока она была при Пелагее Петровне, это было не обязательно.

Иногда Маша спрашивала Полиньку озабоченно и настойчиво:

— Когда папа приедет, как он нас найдет?

А nord-ост все гулял по городу и по просторным комнатам пустой дачи Голицына.

Дети зябли, чихали, кашляли. На ночь всем подряд, здоровым и больным, медсестра давала ложку микстуры.

— Ничего, как-нибудь выживем, — говорила она детям...

Как-то случайно Пелагея Петровна встретила на улице Федора Васильевича Гладкова, давнего знакомого своего мужа.

— Я давно вас ищу, Пелагея Петровна. Я слышал: Леонида уже нет... Да, слышал, слышал. Я к вам с предложением. Мы открываем на цементном заводе опытную школу, школу совершенно нового образца — экспериментальную. Пойдете?

— Конечно, пойду. Вы заведующий?

— Я пишу книгу о том, как восстанавливается руками рабочих наш цементный завод. Мы его назвали «Пролетарий». Очень скоро по воздушной линии поплывут вагонетки с бочками цемента в порт...

И Пелагея Петровна переехала еще раз: на Новороссийский цементный завод «Пролетарий».

Теперь она уходила рано утром в Опытную школу и приходила поздно вечером. «Меня интересует все, что касается новой школы, о которой мечтал мой дорогой Леонид Никитич», — говорила она.

Маше шел шестой год, она все видела в первый раз, все замечала, всему радовалась.

Не хватало ей здесь только ее мамочки.

В доме, где они жили, был огромный квадратный коридор с верхним светом. Здесь Маша стала танцевать свои любимые сказки: «Рыбака и рыбку», «Красную шапочку и волка»...

Дверь из этого «зала» вела на телефонную станцию завода, где телефонисткой была Неонила Васильевна Замятина.

Маша часто сидела у нее и наблюдала как раздавался звонок, и от звонившего номера откидывалась крышечка. Тогда Неонила Васильевна говорила: «Станция». Потом вытаскивала из гнезда штепсель на длинном шнуре (на нем висел грузик, чтобы шнуры не путались) и вставляла штепсель в гнездо того номера, который просил «абонент».

Маленькой Маше очень нравились звонки и вспыхивавшие красные огоньки «включение» и «отключение», но больше всего

сама Неонила Васильевна Замятина. Сын ее Витя учился у Полинки в классе.

Прошло много-много лет, и новоросийцы 1920-х годов решили собраться в Москве в 1985 году. Они встретились в ресторане «Прага». Мария Владимировна Нарышкина и Виктор Замятин сразу же узнали друг друга.

А в то далекое время, когда Неонила Васильевна Замятина работала на телефонной станции, маленькая Маша целыми днями готова была следить за «включением» и «отключением».

Пелагея Петровна решила определить Машу в детский сад. Но Маша не сумела его полюбить, и это было их общим огорчением.

Маша определенно не хотела туда ходить.

Полинька старалась ее убедить, что в детсад ходить лучше, чем просто бегать по улицам. С этим Маша в душе никак не могла согласиться.

И как Полинька ни старалась, каждый вечер у школы ее встречала вволю набегавшаяся Маша. Полинька огорчалась, но принуждать не хотела.

По дороге домой они разговаривали. Иногда Маша спрашивала Полиньку:

— А где моей мамы могилка? Я хочу туда...

— Мы непременно поедем на катере, вот только море немного успокоится.

Маша спрашивала опять:

— Полинька, а Париж далеко? Скоро папа приедет?

В сущности, где в действительности был Владимир Михайлович, Полинька и сама не знала.

Она ездила в Орел. Но выяснилось, что дом Владимира Михайловича и флигель, их любимый «Бисквитный домик», был сожжен.

На вопрос «где Виктор Иванович» ей ответили: «Был да сплыл»...

Во дворе валялись сломанные рамы портретов, ветер шуршал обгоревшими страницами рукописей и старинных книг.

На оборванных воротах висел амбарный замок. Пелагея Петровна с глубокой грустью, опустив голову, пошла вдоль ограды. Из канавы торчал бронзовый подсвечник с гербом Прокудиных-Горских.

Она тщательно упаковала все это — полусохранившиеся книги, фотографии, картину с изображением дома и парка, портрет Марии Петровны — и повезла собой в Новороссийск.

Все это стало храниться в нашей семье...

Полинька, как зовут моего папу?

— Владимир Михайлович.

— Ага, я помню — Володя. А фамилия?

— Прокудин-Горский...

В другой раз Маша спросила:

— А кто мой папа?

Полинька в это время, вспоминая все, что говорила ей Маня о своем муже, искала, что бы могло более всего обрадовать Машу.

— Кавалерист, — сказала она.

Да! Это была радость!

Маше сразу же вспомнилась песня, которую тогда пели:

Мы красные кавалеристы, и про нас
Былинники речистые ведут рассказ...

Что такое «былинники речистые» она не знала, но зато теперь она знала главное — ее папа герой, такой же, как и ее мама. И, может быть, у него тоже есть коробочка с медалями на полосатых ленточках «За храбрость»...

Потом они с Полинькой ездили к мамочке на могилку, но сначала заходили к маме в лазарет. Здесь помнили Машеньку и говорили:

— Ты уже такая большая выросла?! И такая хорошая, мама порадовалась бы.

Маша запомнила это на всю жизнь — «мама бы порадовалась».

Больше всего Машу поразило, даже можно сказать, потрясло, что ее маму закопали в землю.

— Полинька, ты же говорила, что она на небе?

И опять у Полиньки была трудная задача:

— Ее душа, Машенька, на небе...

— А что такое «душа»?

— Все самое доброе, ласковое, за что твою маму помнят и любят люди.

На кладбище Маше было грустно. Могилы с крестиками и без крестиков — одни бугорки, лишь иногда обложенные камушками...

Ветер нес по небу обрывки туч, и тени бежали от них по траве.

Внизу лежало черно-зеленое море с белыми, будто сердившимися гребнями волн.

Маша заплакала и ткнулась Полинке в колени...

К спинке Машиной детской кроватки Полянка прикрепила мамин образок.

Маше казалось, что это изображение Богоматери и есть мамино лицо с глазами, ласково смотревшими на нее.

Она даже слышала мамин голос, по которому очень скучала...

Однажды, совсем уже засыпая, она почувствовала, что кто-то родной-родной гладит ее по щеке. Она открыла глаза и увидела Полянку, наклонившуюся над ее кроваткой.

— Полянка, ты пусть тоже будешь моей мамой... Моя мамочка ведь не обидится? Сейчас холодно и темно, а где мамочкина душа спит на небе?

В это время они обе услышали, как за окном воет норд-ост.

— Ей холодно, — прошептала Маша, и обняла Полянку за шею.

— Полянка, ты не умрешь?

И этот страх, что она потеряет еще и Полянку, у нее остался на всю жизнь.

Днем Маша была резвым и веселым ребенком, и Полянка успокаивалась: «Ничего, как-нибудь переживет горе».

Но как только темнело за окном, и Полянка надевала пальто, собираясь идти в Ликбез, Маша начинала плакать.

Полянке приходилось ее брать с собой в Ликбез. Здесь Маша тихо сидела на самой задней парте и смотрела книжку с картинками или рисовала.

Ох, сколько ей пришлось отсидеть на задних партах, прежде чем она стала ученицей!

И все-таки это было в сто раз лучше, чем дома одной плакать, подвывая в подушку. Здесь рядом сидели взрослые тети и дяди в шинелях, смотрели на Машу добрыми глазами и называли ее «дочкой».

Она старалась слушать, что объясняла им Полянка, но как ни тарщила глаза, они закрывались.

Про себя она гордилась, что учится в Ликбезе.

Когда Маша доросла по возрасту до школы, снова выяснилось, что надо иметь метрику — «документы».

Полинька сказала, что если Маша не имеет ничего против, она ее удочерит, и ей тогда дадут новую метрику — удостоверение о рождении.

Пелагея Петровна работала тогда в местечке с поэтическим названием Солнцедар. Там и выдали Маше новое свидетельство о рождении.

— Машей тебя назвали твои родители в честь твоей мамы. Ты ведь не хочешь изменить свое имя? — спросила Полинька.

— Не хочу!

— Фамилию тебе дадим какую? Можешь выбирать...

— Фамилию? Пусть будет твоя...

— Значит, фамилия у тебя будет наша с Леонидом Никитичем. Тогда и отчество — Леонидовна?

— Нет, Полинька, отчество пусть будет моего папы.

И, уже надевая сумку с букварем на плечи, Маша вдруг озабоченно спросила:

— Я только не знаю: Владимеровна или Владимировна?

Так Пелагея Петровна удочерила свою племянницу.

В те времена ни за усыновление, ни за опеку не давали никаких денег, никакого «родительского капитала».

Пелагея Петровна Нарышкина просто отдала Машеньке свою фамилию как отдавала ей свои последние сухарики во время голода и всю свою жизнь без остатка.

Маша начала ходить в Опытную школу в Новороссийске, и школа ей очень нравилась. В ней был спортзал с кольцами и турниками, разные «кружки». И Маша ходила на музыку, на танцы и еще на лепку и на рисование.

Завод «Пролетарий» подарил школе огромный сад, спускавшийся по наклону к морю. Там, в саду, ученики проводили разные опыты с растениями — опыление, прививки. И ветки кустов с бумажными колпачками казались сказочными фонариками.

Когда кончались уроки и «горячие завтраки», Маша выскакивала из школы на солнечное крыльцо.

Тяжелые гроздьи цветов белой акации в саду наполняли воздух своим сладким ароматом.

Здесь, в Опытной школе, Маша впервые познала дружбу. Она подружилась с сестричками Лерой и Натой Афиногеновыми.

У Леры был туберкулез колена, и она не ходила. Когда она первый раз дошла на костылях до Народного дома, Ната прибежала к Маше, красная, с капельками пота на носу:

— Пошли скорей, — говорила она, еле переводя дух, — Лерка дошла до Народного дома!

С тех пор Лера стала с ними вместе ходить и даже купаться в море. Ната говорила очень строго:

— Нам надо не только научиться плавать, но и прыгать в воду. Сегодня прыгаем с первой ступеньки в купальне, завтра со второй, потом с третьей...

Маша училась легко, поэтому все свободное время тратила на разные «свои счастья». Она их пересказывала Полиньке, загибая пальцы:

— Раз — танцевать на настоящей сцене с занавесом... И чтобы хлопали.

На трапеции кувыркаться — счастье два.

Рисовать и лепить — счастье три. Нет, купаться в море — это счастье номер два, а потом лепить — три.

Полинька даже подумала, что вот Маша начинает и забывать своих родителей.

Но как-то вошла в комнату и увидела — Маша в ночной рубашке стоит на коленях в своей кровати со сложенными для молитвы руками и шепчет:

— Мамочка моя дорогая, моя любимая-любимая... Мы с Полинькой живем очень хорошо... Ты не грустишь там без нас?..

В школе Маша и Ната все посещали, во всем участвовали и всему радовались.

Любимая игра Маши, Наты и Леры была «в школу», но не в простую, а в Опытную. Они учили своих кукол как в Опытной школе: не только учить уроки и много знать, но быть честным, смелым, а главное — отвечать за порученные им дела.

Как-то, у Пелагеи Петровны дома собрались учителя, чтобы писать учебные программы. Маша легла спать и вдруг услышала, как Полинька сказала:

— Я много на своем веку видела разных детских игр, но никогда еще не приходилось видеть игру в «учебные программы».

И все засмеялись, поглядывая в угол, где спала Маша. Но ей было непонятно — что тут смешного.

Как-то Ната спросила у Маши:

— Лерка говорит, что твой папа Рюрик?

— Не Рюрик, а Рюрикович.

— Ну все равно. Что ж ты молчала? Мы будем его разыскивать.

А кто тебе это сказал?

— Мама.

— Ну, Пелагея Петровна врать не будет. Знаешь что? Напишем в Москву: «Девочка-сирота разыскивает своего папу Рюриковича», и нам помогут. Я читала про это.

— Не надо...

— Почему? — удивилась Ната.

— Потому... я не сирота. У меня Полинька... А папа... сам нас найдет.

— Да уж давно бы нашел, если бы вы десять раз не переезжали с места на место, — сказала Ната.

Но, увидев огорченное Машино лицо, добавила:

— Ну ладно, еще найдется...

Маше очень нравилась семья Афиногеновых — большая, дружная, в которой главной была мама. Нравилось, что у них был такой добрый папа, Сергей Михайлович. Он всегда улыбался, ласково глядя через очки:

— Ну что, Машенька, как твои успехи? Научилась прыгать с четвертой ступеньки «солдатиком»?

Маша поняла, что он услышал разговор с Натой, и засмеялась. И он засмеялся тоже:

— Ну учись, учись, девочка...

А иногда спрашивал:

— Когда же вы, дочки, снова позовете нас на свой концерт?

Тогда начиналась подготовка к новому «представлению». Маша танцевала то танец «Снежинки», то «Бабочку», а то и вовсе «Лебединое озеро» и все под одну и ту же музыку их старинного будильника.

Зрители громко аплодировали и кричали «Бис! Бис!».

В такие минуты все три подружки хотели быть артистками. Но Полинька говорила: учиться надо.

А еще они хотели быть капитанами дальнего плавания. И все трое имели в мыслях огромные океанские пароходы.

Потом все трое стали выпускать «Литературный и художественный журнал «Море».

Лера, которая была старшая, всем объясняла: «Имеется в виду море жизни».

— Машенька, — говорила она, — что ты напишешь в следующий номер журнала?

— Я могу только печатными буквами... — признавалась Маша.

— Ну, ничего. Говори, а я буду записывать, — с готовностью отзывалась Лера.

— А про что?

— Про эту картинку можешь?

— Могу. Здесь про море.

— Я записываю. Ну?.. Молодец, — говорила Лера. — Теперь в раздел поэзии нашего журнала.

— Надо стихами? — испуганно спрашивала Маша. — Ну сейчас...

— Молодец! — хвалила Ната. — Машины стихи давайте пошлем поэту Жарову.

— Правильно! — Лера вырвала из тетради в косую линейку лист и переписала стихотворение, которое сочинила Маша:

Ветер шумит ветвями,
Ветер шумит листьями,
Качает зеленые ветки,
Качает зеленые сетки...

Тете Наде дали надписать конверт: «г. Москва. Союз писателей, поэту Жарову».

Ответа ждали долго, но не дождались.

Ната сердилась:

— А еще называется советский писатель!

Время от времени она вспоминала, что Жаров так и не ответил, и предлагала написать ему еще письмо, чтобы ему стало стыдно за свое не бережливое отношение к «молодым талантам».

Но Полинька сказала:

— Бросьте, ребята. Не в Жарове дело, а в ваших стихах.

Однажды, когда Маша только еще начала учиться в первом классе, а учительницей была Полинька, случилось «пришествие».

Мальчики на переменке шалили, толкнули аквариум — он закачался и рухнул. Все в ужасе застыли.

Пелагея Петровна вошла в класс и остановилась: на полу в большой луже валялись рыбки и дрыгали хвостиками.

Аквариум с рыбками — это было единственное, что школа доверила первоклассникам...

— Кто это сделал? — строго спросила Пелагея Петровна.

В классе воцарилась мертвая тишина.

— Кто это сделал?

— Маша... — кто-то не очень уверенно пискнул с задней парты.

— Маша? Почему же ты не встаешь, Маша, если это сделала ты? Только трусливые, не достойные люди боятся отвечать за свои поступки. Выйди в коридор и подумай там об этом.

В коридоре проходили мимо учителя, они останавливались и спрашивали:

— Машенька, ты опоздала на урок? Открой дверь и спроси у мамы: «Можно войти?»

Маша мотала головой: «Нет».

Только один Сергей Михайлович, проходя мимо, сочувственно сказал:

— Ничего, Машенька, ничего, со всяким может случиться.

Когда в следующий раз в классном шкафу было разбито стекло, никто уже не сказал «Это Маша».

Виноватый молча встал и мужественно ждал, что теперь ему за это будет.

Как-то раз, когда Маша была у своих Афиногеновых, она услышала в соседней комнате разговор:

— Почему наш Витька не попал в класс к Пелагее Петровне? Ты же сам говорил, что она лучшая учительница из учителей младших классов, — говорила Сергею Михайловичу Серафима Викторовна, мама Леры, Наты и их брата Виктора.

— Я и сейчас это говорю.

— Почему тогда Виктор не у Пелагеи Петровны в классе?

— Но я же не могу сказать: «Мой сын пусть учится у Пелагеи Петровны, потому что она талантливый педагог».

— Почему не можешь? Ты же заведующий школой!

— Потому что в нашей школе главный закон — справедливость.

— Глупость какая! Почему твой сын должен страдать из-за ваших законов.

— Потому что у нее и так класс переполнен, потому что все родители хотят, чтобы их дети учились у хороших учителей. Пелагея Петровна педагог редкий, себя она не жалеет. Так я, по-твоему, должен ей сказать: «Возьмите еще и моего Витечку?»

— Так всего одного его!

— Я этого сделать не могу, и ты не проси меня о том, чего я не могу.

Воцарилась тишина.

— Ты, мама, не понимаешь что ли? — сказала Ната с осуждением, — это ведь несправедливо.

Постепенно я начала понимать, каким сильным и гармоничным характером обладала моя Полинька, каким светлым человеком была, — писала впоследствии в своем дневнике Маша (Мария Владимировна Нарышкина-Прокудина-Горская). — Свою жизнь она прожила одним дыханием с детьми, со своими учениками, для которых, она считала, и была создана..

И то, что после смерти моей мамы я оказалась рядом с ней, что судьба мне послала ее, я считала, что это вымолила мне у Бога моя мама, умирая. Только ей одной и могла она доверить свою Машуню.

Полинька была всей своей благородной душой устремлена ко всему самому светлому.

Она свято верила в человека.

И она, моя дорогая учительница, пока жила — учила, учила, учила. И верила, что это были, хотя и малозаметные, но очень важные кирпичики, которые она вкладывала своим трудом в жизнь ее маленьких учеников.

Ее любимым героем был князь Мышкин из романа Достоевского „Идиот“. Своей чистой душой она была похожа на него. Любила детей, всю свою жизнь с ними возилась и сама до самой смерти оставалась умным, серьезным и, пожалуй, наивным ребенком.

И все, что нашей в семье есть доброго и светлого — у нас от нее.

В то время Полинька и Маша часто поднимались на гору на городское кладбище. Поставили белый каменный крестик на могиле, в которой лежала их Манечка и еще 10 человек.

Но могила была вскоре разрушена, и они ее находили только по большому, поросшему пятнами мха, камню. Может быть, он здесь, на горе пролежал тысячелетия, когда еще и Новороссийска не было, не было и Суджукской древней крепости...

Подолгу сидели здесь Полинька с Машей. Это был дорогой им кусок земли, кусочек их жизни, который жил в них всегда болью невозвратимой утраты.

Нескоро Полинька с Машей снова поставили крест с надписью:

*Здесь
в братской могиле лежит
русская сестра милосердия трёх войн
Мария Петровна Прокудина-Горская.
Погибла, защищая раненых
1889–1920
†*

Крест был простой, каменный, белый, но высокий и виден издалека.

Долго сидели они с Полинькой на камне с желто-зелеными пятнами лишайника.

Кратка жизнь человеческая, как летящая звезда на небе. Промелькнет и оставит за собой яркий свет в доброй памяти людей, а то и этого не оставит...

Грустно им было возвращаться обратно без мамы, словно забыли ее здесь, на кладбище.

Казалось, ничто не меняется, но что-то менялось в самой Маше.

Она уже перестала верить, что в один из дней вернется к ним ее мама.

Она уже не верила и что увидит своего папу.

У нее оставалась одна Полинька, и Маша боялась, что и они могут потерять друг друга...

Как-то вечером к ним пришли «по литературному делу» Федор Васильевич Гладков и Всеволод Эмильевич Мейерхольд.

— Мы хотим написать пьесу для театра, — сказал Федор Васильевич. — И о ком бы Вы думали? О Вас, Пелагея Петровна, замечательной женщине нашей эпохи.

Полинька улыбнулась.

— О женщине, беззаветно преданной делу воспитания молодого поколения, нашего будущего. Знаете, я не видел человека более бескорыстного, чем Вы, более открытого людям, тратившего всю свою жизнь без остатка на просвещение...

— Перестаньте, Федор Васильевич, мне это просто стыдно слушать, — строго сказала Полинька. — И писать обо мне нечего. Что тут такого необыкновенного? Уччу, уччу, уччу быть людьми...

— Вот, вот: как не просто быть просто необыкновенным человеком.

— Простота — это проявление высокой духовности. Редко кому дается, — неожиданно громко и четко произнес Мейерхольд.

И вдруг улыбнулся одними глазами, огромными, грустными.

Книга о Пелагее Петровне Нарышкиной осталась не написанной. Но для Маши с того вечера открылось новое понимание Полинькиной жизни — жизни настоящей русской учительницы.